

П. Д.  
БОБОРЫКИН



*Избранное*



Петр Боборыкин  
**Однокурсники**

«Public Domain»

1901

**Боборыкин П. Д.**

Однокурсники / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1901

Повесть о художественной жизни начала 20 века.

© Боборыкин П. Д., 1901

© Public Domain, 1901

# Петр Боборькин

## Однокурсники

### I

Яркий сентябрьский день обливал веселым светом площадку, где скошенная пирамида часовни стоит на перекрестке от Моховой к Охотному ряду.

В воздухе разлит запах ядреных яблоков. Он шел от Охотного. И глазом можно схватить ряд столов с горками фруктов, крымских груш, антоновки, виноградных кистей, арбузов, лимонов, кровяно-красных помидоров.

Оттуда же доносится гул торгова у столов, на тротуаре с влажными, покосившимися плитами.

Треск дрожек, вверх и вниз по Тверской, по Охотному, и в сторону Моховой, ни на минуту не смолкает.

По тротуару от университетских зданий – взад и вперед – то и дело мелькают синие околыши фуражек. Это движение молодежи увеличивается каждый час, немного раньше и тотчас после перемены в аудиториях Нового университета.

На кремлевской башне пробило половину двенадцатого.

По тому же тротуару, от ректорского дома к церкви, выкрашенной в красно-бурую краску, шел студент, с поношенным пальто внакидку, рослый, худой брюнет, в бороде; на вид сильно за двадцать. На крупном носе неловко сидели очки. Волосы он запустил довольно длинные. Цвет околыша фуражки и воротника показывал, что он донашивает свое платье. И сюртук и пальто были под стать цвету голубого сукна.

Он шел медленно, оглядывал улицу, смотрел и вдаль, на Охотный, – и его продолговатое, загорелое, умное лицо улыбалось и серыми большими глазами, и таким же большим, свежим ртом.

Чувствовалось, что он идет не с лекции, что у него нет никакой "спешки".

Все его лицо говорило как будто о том – как ему приятно очутиться опять в Москве, на Моховой, в том студенческом царстве, которое придает этой части города такой особенный характер.

Ему попадались студентки-новички. И он, улыбаясь, смотрел на их форму с иголки и ярко блестящие на солнце козырьки и позолоченные пуговицы. Их безусые и безбородые юные лица со свежими щеками, особенной ясностью глаз и немного забавной серьезностью всей повадки – тешили и трогали его.

И он был таким же пять лет назад.

Его подмывало остановить такого юнца и заговорить с ним так, ни с того ни с сего, узнать, откуда он, на какой факультет поступил и где устроился квартирой.

Он мысленно давал им отметки:

"Этот – из провинции, а тот вон – здешний гимназист, а вот этот наверно – хват лицеист".

Он слышал обрывки разговоров:

– Завтра Римское в десять!

– Ты куда закатаешься?

– Мы в Малый.

– А мы в Каретный ряд!

– "Царя Федора" не видал еще?

Все так же, как и в его время. Когда ввалишься сюда "из губернии", сейчас же потянет в театр – вон туда, на площадь, в то некрасивое приземистое здание без фасада против гостиницы

"Метрополь", с невзрачным подъездом. Оно повито именами Щепкина, Мочалова, Садовского, Шумского. Последний полтинник идет туда, особенно на первых порах, с художественного голода глухого губернского города, где нет даже постоянной труппы.

И им теперь все это в диковинку. Да и аудитория как действует на первых порах!..

"Даже и теперешняя!" – прибавил он мысленно.

Все равно – что бы они ни нашли в этих старых залах, уже тесных для такой "уймы" студенчества, крылатые слова или мертвечину, самобытные идеи или параграфы учебников – нужды нет! – они тут только стряхнут с себя ненавистную узду гимназической муштры, здесь только почувуют себя в огромной семье сверстников, здесь только будут знать – за что стоять, чего ждать от жизни, кто друг, кто враг; здесь только идейные течения захватят их и потребуют не одних слов, а и личной расплаты...

Ничего! Пускай немного поплатятся, – только бы не совсем искалечить свою жизнь.

Он поправил рукой полу своего старенького пальто и покосился на ряд пуговиц, давно поблеклых.

Ему как бы не верилось, что он опять принят в студенты, опять в Москве, и будет ходить в то здание, откуда вышел пять минут назад, и может, в конце года, приступить к государственному экзамену.

Кто знает!.. Может быть, и опять на чем-нибудь "сковырнется".

Отвечать за себя – трудно. И если б для вторичного принятия в студенты требовалась торжественная клятва – он бы не дал ее.

Но все равно!

Он – "великовозрастный" студент, Иван Заплатин – опять здесь, и вот поднимается по Тверской к бульвару, где завернет в студенческий ресторан, на углу Бронной. Может, кого-нибудь и встретит из своих однокурсников.

Вряд ли – сегодня. Здешние, московские – кто на службе – чинушем или адвокатом, а кто уехал в провинцию. Человека два-три пошли по ученой части. Но и таких, как он – оказалось немало, которых "водворяли на место их родины".

И его водворили в уездный городок на Волге, где он просидел больше года.

Он не сожалеет. Много он кое-чего узнал в это подневольное сидение, вошел в жизнь своей родной "палестины", поездил и по уезду, попадал в лесные труппы, присматривался к расколу, "бегал" на пароходах вверх и вниз – разумеется, все это более или менее контрабандой. Надзор был не особенно строгий. Запрет лежал только вот на этом городе, куда его опять стало тянуть, на Моховую.

Раньше – он мало знал свои родные места, Гимназистом приезжал только на вакации; да и то в старших классах брал кондиции, готовил разных барчат в юнкерское училище или подвинчивал их насчет древних языков и математики. Студентом на зимние вакации не ездил, а летом также брал кондиции, в последние два года, когда, после смерти отца, надо было прикончить дело, которым держались их достатки.

По отцу он купеческого сословия; а мать – дочь чиновника, попавшего в их город, вроде как "штрафным", из не кончивших курсы студентов. В их городе он и пробивался кое-чем, больше по статистике, умер рано, дочь осталась сиротой, и отец его взял ее "по любви".

У отца было небольшое канатное заведение – из рода в род. Кое-как оно держалось; а когда он умер – оказались долги, и заведение продали для покрытия их.

Остался домик, в два этажа, полудеревянный, полукаменный. Верхнее жилье отдается внаймы. С этого мать его и живет.

Ему бы надо было поступить в реальное училище, а потом идти в техники или путейцы, а то так прямо в нарядчики или в конторщики на пароходную пристань.

А в нем не то бродило. Должно быть, "атавизм" от деда со стороны матери. О гимназии он еще "карапузиком" начал мечтать и даже просил взять ему репетитора-дьякона в соборе, чтобы подготовить к классической муштре.

Родом он волжский обыватель, из мужиков; только дед приписался к третьей гильдии, – и лицо у него бытовое, в отца, а душа вышла не купеческая, и не чиновничья, и не дворянская, а "общерусская", как он сам называл.

Не кичится он тем, что принадлежит к "интеллигенции"; но и не огорчается тем, что университет дал ему такую "осечку"; не жалеет и о том, что не готовил себя в люди практического дела, не обеспечил себе никакого технического заработка.

По собственному выбору поступил он на юридический факультет, не смущаясь тем, что и без него слишком много народу накидывается на то же.

Ученого призвания он в себе не признавал, а учительствовать – классиком или преподавателем математики – одинаково не манило его. Не хотел он превращаться в одного из тех "искариотов", какими угостила и его гимназия.

Ничего не было выше для него науки об обществе, о его нуждах и запросах, о тех законах развития, в которых потребности ведут к выработке всего, чем красится и возвышается жизнь.

А чем он будет жить, когда простится с "alma mater", – он и теперь не очень-то много думает.

Сколько он наслушался и там, на родине, во время подневольного пребывания в своем приволжском городе, нынешних возгласов:

"Не нужно нам умственного пролетариата! Слишком много шатается по Руси всех этих умников, ни на какое настоящее дело не пригодных!"

Слова: "интеллигенция" и "интеллигент" – произносятся с особым выражением, почти как смехотворные прозвища.

А ему они до сих пор дороги. Нужды нет, что они переделаны с иностранного. Без них небось никакой разговор не ведется.

Не станет он сам себя величать: "я интеллигент"; но не будь он из этого "сословия", – что бы в нем сидело? Какие устои? Какие идеи и упования?

Не смущает его то, что теперь и у нас, в Европе, в такой передовой стране, как Франция, раздаются такие же голоса.

И там кличка "intellectuel" – бранное прозвище. Но для кого? Для реакционеров-националистов, для тех, кто с пеной у рта оплевывал лучших людей Франции, кто цинически ликовавал при вторичном незаконном приговоре над невинным, потому что он – "жид".

Здесь, вот в этой Москве, куда он опять попал, как в землю обетованную, – стал он "интеллигентом" и останется им до конца дней своих.

Что нужды, что эта "первопрестольная" – как и в третьем году, как и пять лет назад, когда он впервые попал сюда, – все такая же всероссийская ярмарка. Куда ни взгляни, все торг, лабаз, виноторговля, мануфактурный товар, "амбары" и конторы, и целый "город" в городе, где круглый год идет сутолока барышничества на рубли и на миллионы рублей.

А для него и для сотен таких, как он, этот всероссийский город – очаг духовной жизни. Здесь стали они любить науку, общественную правду, понимать красоту во всех видах творчества, распознавать: кто друг, кто враг того, из-за чего только и стоит жить на свете.

Вот там, у Воскресенских ворот, в темно-кирпичном здании, где аудитория на тысячу человек, на одной публичной лекции – он только что поступил в студенты – его охватило впервые чувство духовной связи со всей массой слушателей-мужчин и женщин, молодежи и пожилых людей, когда вся аудитория, взволнованная и увлеченная, захлопала лектору.

Тут собралась вся та Москва, что стала ему дорога, как настоящая духовная родина. Пускай в ней не сто тысяч народу, пускай она составляет малый процент миллионного населения; но без нее здесь царил бы "чумазый".

Как человек купеческого рода – сколько раз он спрашивал себя: будут ли "их степенства" владеть и той Москвой, которая дорога ему, а потом и всей русской землей – как "тьерсэтла", как третий "чин" государства, выражаясь по-нынешнему?

Как раз мимо него прокатил на низенькой, открытой пролетке, с загнутыми крыльями, на резинах, такой вот будущий единовластный обладатель Москвы, по всем признакам "их степенство" – круглый, гладкий, в светлом пальто и лоснящемся цилиндре, на призовом жеребце.

И ему показалось даже, что он где-то встречал этого молодого коммерсанта – только не мог сейчас же вспомнить – где именно.

Пускай! У них капитал, в их руках сотни тысяч рабочих, они наживают по пятидесяти процентов чистой прибыли на мануфактурах и оптовых складах. Но и они уже в выучке у интеллигенции.

Вон там, в Замоскворечье, купец завещал городу первое хранилище русского искусства, какого никто еще не собирал с такой упорной любовью. А на Девичьем Поле целый городок выстроен на деньги "их степенств".

И тут же вдруг вспомнил он фамилию того молодого купца, в светлом пальто, что прокатил вниз по Тверской. Он – богатейший мануфактурист; но у него страсть к любительству. С ним они познакомились в одном кружке. Он – комик; и спит, и видит, как бы ему завести собственный театр.

Барыши его уже не тешат. "Пунцовый товар" для него "рукомесло", а не жизнь. Живет он только в театре, влюблен в кулисы, в игру, мечтает со временем создать такой "храм муз", какого не бывало еще ни у нас, ни на Западе.

И так пойдет жизнь дальше. Кубышка поступит на службу интеллигенции – в этом он, Иван Заплатин, купеческий сын по третьей гильдии, глубочайшим образом убежден.

В таких-то думках поднимался он на взлобок Тверской. Вот и новое Инженерное училище, где бы ему следовало быть, если б он слушался умных людей, а не был ни на что не пригодным интеллигентом.

Сейчас площадь – с памятником великого поэта.

Точно в первый раз глядит он на бронзовую фигуру с курчавой, обнаженной головой, склоненной несколько набок. И сколько воспоминаний нахлынуло из самого недавнего прошлого! Давно ли чествовали столетнюю годовщину певца "Онегина" и "Медного Всадника"? А то, первое торжество, когда открывали памятник и вся грамотная Россия вздрогнула от наплыва высшей радости! И те, кто говорил в великие пушкинские дни, – уже тени... Ему их никогда не видать.

Вокруг памятника расселось много народа: няньки с детьми, мастеровые, старушки, студенты и молодые женщины в кофточках и платочках, все так же, как и прежде.

Ему припомнилась целая сцена. Подальше, на той площадке, где кофейная, сидела большая компания студентов. Дело было весной, перед экзаменами.

Давно повелось – у некоторых шатунов бульвара – приставать, под вечер, ко всем молодым женщинам. Это его всегда возмущало. Он не вытерпел и дал окрик на целую кучку товарищей. Его хотели поднять на смех; но он себя не помнил, весь дрожал от возбужденного чувства. Те постыжились и даже удалились.

Случилось это во второй год его студенчества.

## II

«Он, он!» – вскричал Заплатин мысленно, остановился и еще раз поглядел вперед.

– Наверно! – выговорил он вслух и прямо подошел к молодому мужчине, который, идя ему навстречу, держался левее, около боковой аллеи.

– Кантаков, – здравствуйте! Иль не узнали?

– А ведь и то не сразу! Заплатин!

– Он самый.

Они поцеловались.

Тот, кого Заплатин окликнул Кантаковым, был почти такого же роста и такой же худощавый, но старше, лицо загорелое, со светло-русой бородой. Одет точно по-дорожному: большие сапоги и куртка из толстого сероватого драпа; на голове мягкая, поярковая, помятая шляпчонка.

Лицо его скрашивали карие глаза, слегка прищуренные. Он немного гнулся, руки его часто приходили в движение, и бровями он поводил, как только оживлялся в разговоре, голос его чуть-чуть вздрагивал, теноровый, приятный, с легкой картавостью.

– Опять в Москве... и в форме? – спросил он Заплатина, все еще держа его за руку.

– Как видите!

Они были приятельски знакомы перед "удалением" Заплатина, но не на "ты". Кантаков уже два года, как кончил курс.

Он долго считался "вожаком" между юристами, стал славиться красноречием на сходках и тотчас же пошел по адвокатуре. Его имя уже попадалось Заплатину в газетных отчетах.

– Значит... допущены до окончания курса?

– Допущен.

– Небось рады?

– Не скрываю, Кантаков! Очень стосковался по Москве... И вот какая мне удача – сейчас же повстречал вас. Не хотите ли присесть... хоть на минуточку... Вам не большая спешка?

– Присядем, присядем... выкурю одну папироску. Вы, собственно, куда пробирались, Заплатин?

– Закусить... в наш Капернаум.

– В какой? В "Интернациональный"?

– Пожалуй, хоть и туда.

Кантаков вытянул часы из-под своей куртки и посмотрел.

– У меня есть еще малая толика времени. Мне и самому что-то подвело живот... раньше положенного срока. Посидим маленько и туда!... Там еще потолкуем.

– Вы не на охоту ли собрались? – спросил Заплатин, оглянув костюм Кантакова.

– Ха, ха! Вы думаете, это у меня охотничья сбруя?

Приятель спешно закурил папиросу.

– Нет, это дорожная моя форма. Я ведь сегодня утром... ввалился в Москву... оттуда! – Он указал рукой вправо. – И вчера еще трусил на перекладных. Там не такая погода, как здесь. Везде грязь – непролазная.

– Защищать ездили?

– Это еще впереди. А для знакомства с клиентами.

– Мужички?

– Фабричные.

– Вы... никак, недавно защищали?.. Я читал.

– Как же! Про меня толкуют, видите ли, что я в Гамбетты лезу... ха, ха!.. Специальность себе сделал из фабричных беспорядков.

– Правда это?

– Правда-то правда; но с моей стороны тут умысла, спервоначала, никакого не было.

Кантаков сильно затянулся и выпустил длинную струю дыма.

У его собеседника было особенное настроение. Что-то опять приятно щекотало в груди от этой встречи с таким даровитым и сильным малым, как этот Сергей Кантаков. Что-то было в его тоне, голосе, минах и движениях подмывательное и бодрящее.

– Лихая беда – начало, Заплатин. Попали на зарубку – и пошло! Первая моя защита в этом вкусе подвернулась случайно. Уступил мне ее мой принципал, у которого я в помощниках.

– Тоже стачка?

– Как же... Пустяшное, в сущности, дело.

– На какой фабрике?

– На прядильной мануфактуре – как водится. Наш Манчестер... Их степенства – разумеется, испужались. Сейчас в губернию... команду! Все – честь честью! Буйства никакого. Ни погрома, ни хищения... а только оказательства, и довольно толковое, – значит, с уговором, а главное – скопом!

– Удалось обелить?

– Не всех, но почти что всех. Наказание – больше для прилики... С этого и началось. А потом – зима такая выдалась. Несколько было "волнений", выражаясь газетным жаргоном, – и все в одном районе.

– Вы и втянулись? Еще бы! Дело живое!

– Палат каменных на таких процессах не построишь. А теперь уж и тянет. Жалко народ. Да и совсем новый для меня мир открывается. Есть, я вам скажу, курьезные типы. И умственность у некоторых замечательная, особенно у молодых, которым не больше тридцати лет. Это совсем другая полоса пошла.

– Четвертое сословие! – вставил Заплатин.

Кантаков прищурился на него и повел своим подвижным, нервным ртом...

– Вы, дружище, зашибаетесь? – шутливо спросил он.

– Чем, Сергей Павлович?

– Да насчет этого самого экономического материализма?

Заплатин поглядел в сторону – на проходивших мимо, вверх и вниз, по главной аллее бульвара.

– Ха, ха! – тихо рассмеялся Кантаков. – Опаску имеете? Должно быть, там вас доезжали соглядатаи?... На родном-то пепелище?

Щеки Заплатина быстро порозовели. Ему стало немного обидно – точно он, и в самом деле, трусом стал. А он не сразу ответил, потому что и сам еще не вполне разобрался в этом течении.

Но Кантаков не такой парень, чтобы пожелал его обидеть или на смех поднять.

– Соглядатаи, вы говорите, Сергей Павлович?... Нет, настоящего надзора не было. Так, больше для проформы. Но обыватели – лютые. Какая-то хлесткая корреспонденция явилась в одном московском листке с обнажением разных провинностей и шалушек. Поднялся гвалт на весь уезд... Корреспонденция без подписи. Кто сочинял? Известно кто – штрафной студент. И начался всеобщий дозор... Даже до курьезов доходило! Мне-то с пола-горя; а матушке было довольно-таки неприятно.

– У вас ведь отец умер?

– Давно уж.

Заплатин ближе подсел к Кантакову.

– Вы меня вашим вопросом не то что озадачили... Теперь он – самая обыкновенная вещь. Только об этом надо бы пообширнее потолковать. Вы здесь все время были и столько народу знаете всякого. Наверно, и с нашей братией прежних связей не разрывали.

– Дела анафемски много. Редко с кем видишься.

– Все-таки... Желалось бы иметь вашу оценку того, что случилось с тех пор, как нас расселили по весям Российской империи. Вы покурили. Не айда ли в "Интернациональный"?

Тут только собеседник студента заметил, что он не курит.

– Вы разве по толстовскому согласию? – спросил он, указывая на окурок папиросы, который тотчас же и бросил на землю.

– Нет, этим не зашибаюсь. А никогда не был курильщиком, как следует; и вот уже больше двух лет и совсем бросил.

– Добродетельно!

Они разом снялись со своих мест и пересекли аллею.

Они сидели за столиком, друг против друга. Оба заказали по одной порции какой-то кавказской еды и бутылку пива.

Непокрытыми – головы их были выразительнее: у Заплата густые и волнистые волосы заходили на лоб; Кантаков остригся под гребенку, и очертания очень круглого черепа выступали отчетливее, с впадинами на висках.

Он опять уже курил, положив оба локтя на стол, и его речь текла быстро, слова как бы догоняли мысль, и мимика лица беспрестанно менялась.

– Досадного много во всем этом, – говорил он довольно громко, – больше моды, чем настоящего убеждения. Знаете, дружище, это все равно, как лет сорок назад, когда стали на Дарвина молиться. Нас с вами тогда еще на свете не было. Но умные старички рассказывают, которых нельзя заподозрить в обскурантстве... И тогда юнцы до бесчувствия повторяли: "человек – червяк".

– Ха, ха! Даже и не обезьяна?

– Нет, такая уж была формула: "человек – червяк"! И никаких других разговоров. Так и теперь. Я не говорю про всех. Не похаю и того, что стали в самую суть вдумываться, доходить до корня в социальных вопросах, не повторяют прежних слащавых фраз... – Насчет чего? – остановил Заплатин, жадно слушавший. – Насчет народа и деревни?

– Перепустили и тут меру. Вы ведь небось читаете? Там, в Питере, произошло некоторое если и не примирение вплотную, то признание того, что и семидесятников нельзя было так травить.

– Я это всегда говорил, Сергей Павлович! И сколько окриков на меня было! Раз чуть не выгнали из одного синедриона. Честное слово!

– Верю. Теперь полегче. И я той веры, что соглашение состоится не сегодня, так завтра. Главное дело: знания нет жизненного, из первых рук. Я кое-кому из самых заядлых говорю при случае: поездили бы вы хоть с мое, потолкались промежду рабочего люда – вы бы и поняли, что на Руси нельзя еще целиком прикладывать аглицкий аршин. Нет еще его, настоящего фабричного пролетариата. Деревня от фабрики уже сильно зависит – это верно; и она ею питается, но и фабрика без деревни не может работать. Это не идиллия: добиться того, чтобы окрестные крестьяне не разрывали со своим домом, а несли в него все, что останется от конторской дачки.

– Так, так! – поддакивал Заплатин.

Все это было ему сильно по душе.

– Книжки какие хочешь читай – в теории все хорошо. Но оттого, что ты считаешь себя носителем безусловной экономической истины – еще не резон без разуму смущать народ!

Кантаков не договорил; но собеседник его понял тотчас же, на что он намекает.

– Завелись и промежду фабричного люда свои Лассали... из настоящих ткачей и прядильщиков. Только – поверьте мне, дружище, – они сами по себе ничего не могут добиться, если вся масса не проникнется тем, что надо отстаивать свои права. И даже без всяких запевал и зачинщиков толпа в тысячу человек действует стойко, умно, с большим достоинством и тактом. Краснобайством нынче нигде не удивишь. Я уже таких знаю ребят... что твой Гамбетта! Говорит, точно бисер ниже. И тон какой, подъем духа, жест!

– Что вы?! – вырвалось у Заплата.

– Можете мне верить.

Кантаков сделал передышку и отхлебнул пива.

Много вопросов было у его собеседника "на очереди". Он сам не хотел разбрасываться, но одно его слишком интересовало, и он воспользовался паузой.

– А вообще-то, Сергей Павлович, мало утешительного в нашей "alma mater", и сверху, и снизу?

– Ну уж, друг милый, времена, сами знаете, какие!" О том, как читалось и что читалось десять и больше лет назад, – и я-то с товарищами знаем только по преданию. Это – сверху; а снизу – масса... Ничего не могу вам сказать про юнцов-первокурсников... Те, что после вас остались, разумеется, сквозь фильтры прогнаны.

– Прежде были на белой, а теперь, кажется, на темно-голубой подкладке?

– Верно! Ха, ха! И в околышах такая же перемена. Прежде чтобы воротник был самый что ни на есть темно-синий, от черного не отличишь; а теперь – бирюзовый, гвардейского образца. Оба громко рассмеялись.

– Это уж вы никаким куревом не выкурите. И такие кандидаты в земские начальники и драгунские поручики не переведутся долго. Немало и всякого другого народа гуляет в студенческой форме... не больно выше сортом этих рейтузников. И просто баклуши бьют, и эстетов из себя представляют, и тарабарские стихи пишут. Но все это, Заплатин, только пена, изгарь, шлак. И даже довольно обидно за молодежь (он произносил: "м/олодежь"), что слишком у нас скоро обобщают. Сейчас – вывод: никуда не годная генерация, нынешние студенты дрянь, – ни идеалов, ни идей, ни знаний, ни хороших чувств. Это вздор!

– Еще бы! – горячо воскликнул Заплатин и встряхнул своими волнистыми волосами.

– Ядро – все такое же.

– Сергей Павлович! Спасибо! Я ждал от вас такого именно вывода. И я понасмотрелся на всякий народ в три-то с лишком года моего студенчества. Но ядро – как вы говорите – должно быть то же. Недаром же отовсюду повысылали на родное-то пепелище. Положим, и тут разный был народ. Однако... покойнее было кончать курс и приобретать права, чем отпрапляться в трущобы... Иным – даже и без надежды скоро исправить свое положение.

– Нужды нет, Заплатин! Все эти невольные туристы кое-что да разнесли по всем российским весям, прочистили воздух, представляли собою одну – и не пошлую идею. За ними следом шло повсюду и сочувствие всего, что у нас есть, и в печати, и в обществе, честного и мыслящего.

Глаза собеседников разгорелись. Между ними разница лет была небольшая. Но Кантаков гораздо больше оселся, чувствовал под собою почву, имел уже успех, мог считать свою адвокатскую дорогу расчищенной; а в студенте, несмотря на его очень взрослую наружность, "бро-дило" – как он сам называл – еще не унялось, и отвечать за то, куда он придет и чем кончит, – он не мог бы, да как будто и не желал.

– Ну, и что ж, Заплатин, – начал Кантаков несколько другим тоном, – весь этот год с хвостиком протянулся там, на родине, весьма туго и однообразно?

– Я все время работал. Что же больше делать, Сергей Павлович? Книги с собой привез, даже лекции захватил. У меня была надежда, что к этому семестру позволят вернуться. Немало и с народом возился, ездил по Волге, жил у раскольников, присматривался ко многому.

– Ну, а уж по части общества, интересных встреч, особенно с женщинами?

Заплатин опустил ресницы – темные и пушистые.

– Или что-нибудь нашлось?

Глазами Кантаков усмехнулся.

– И там ведь не без людей...

– Даже и в женском сословии?

– Что ж... – начал Заплатин, тише звуком и медленнее, – я не скрою от вас... вы такой душевный человек и всегда были со мной по-товарищески, – хоть мы и не однокурсники, Сергей Павлович.

– Да что вы меня как все церемонно величаете, дружище? А мы – товарищи в полном смысле. Не выпить ли по стакану кахетинского? – Извольте! Здесь не дорого? – Нет, уж я ставлю!

Кантаков спросил карту и выбрал вино.

– Так... Значит, не без встреч?

Глаза его опять заиграли.

За ним водилась репутация человека влюбчивого. Среди интеллигентных женщин он всегда имел большой успех.

– Я не скрою, – начал опять теми же словами Заплатин, все еще не поднимая ресниц. – Там я нашел девушку... из ряду вон... дочь врача. Уже второй год, как кончила гимназию с медалью.

– Красива?

– Очень. Отец болезненный... Вообще неудачник. Матери нет. Она стремится сюда, на курсы.

– На новые?

– Да, Сергей Павлович.

– Далось вам мое имя-отчество! Чокнемся и, если не побрезгаете, – выпьем на "ты". Нам давно пора бы.

– Я душевно рад!

Они выпили.

– И вы этой девицей немного увлечены?

– У меня... к ней... серьезное чувство. И даже... я опять не скрою...

– От тебя, – подсказал Кантаков.

– Что мы уже дали слово...

– Не раненько ли?

– Она подождет. Год пройдет незаметно. Может, и больше.

– Что ж! Нынешние девушки умеют ждать... За здоровье твоей нареченной... Ее имя?

– Надежда Петровна.

Они еще раз чокнулись.

– И ты ее ждешь?

– Ее задержали разные разности. Через неделю будет здесь... А если не удастся поступить сразу... она будет ходить на коллективные уроки.

– Совет да любовь! Впору пропеть: "vivant omnes Virgines!" Впрочем, что я... не omnes, а одна. И какое имя для штрафного – Надежда!

Они опять чокнулись, и звонкий смех Кантакова разнесся по всей зале.

### III

Узким тротуаром, в мгlistый, туманный вечер, пробирался Заплатин по Каретному ряду. Газовые рожки фонарей слепо мигали; но вдали бело-сизый свет резкой полосой врывался поперек улицы.

Там – театр, для него еще совсем новый. До своего удаления он всего раз попал туда – не до того было.

И вот теперь – когда осмотрелся и вошел в прежнюю колею – потянуло его в театр. В Москве без этого нельзя жить.

Мечтал он пойти в первый раз с Надей. Ведь она никогда в Москве не бывала; но она опять на неделю, а то и на две, отложила приезд. Отец расхворался, и ей нельзя оставить его одного.

А на дворе давно уже октябрь.

С ней он, "первым делом", пошел бы в Малый театр. Только там она не найдет того, что было десять и пятнадцать лет назад. Да ведь и он сам уже не захватил той эпохи.

На этой неделе он колебался – остаться ли ему верным традиции и начать непременно с Малого или пойти в Каретный ряд, в театр с новым "настроением" и в репертуаре, и в игре, и в обстановке.

Каретный ряд пересилил. О билете надо было позаботиться заблаговременно. В студенческой братии этот театр – самый любимый, и почти каждый вечер в кассе аншлаг: "Билеты все проданы".

На первые два месяца у него – после взноса за учење – финансов хватит, если не позволять себе лишних "роскошей". Но еще раньше он – по примеру прежних лет – раздобудется и работой. Ему не то чтобы чрезвычайно везло по этой части, но совсем без заработка он никогда не оставался и не пренебрегал никаким видом занятий, от корректур и уроков до переводов и составления промышленных и торговых реклам, какие печатаются на больших листах цветной бумаги.

Добыл он себе билет на пьесу, которую читал больше двух лет назад, но не видал здесь. Она в Петербурге потерпела примерное крушение, а здесь вызвала овации в первый же спектакль и с тех пор не сходит с репертуара.

Электрические шары всплыли перед Заплатиным, когда он вошел во двор и увидел фасад театра. Целая вереница пролетов тянулась справа клеву, и пешеходы гуськом шли по обоим тротуарам круглой площадки.

В сенях он очутился точно в шинельных университета: студенческие пальто чернели сплошной массой, вперемежку со светло-серыми гимназистов, и с кофточками молодых женщин – "интеллигентного вида", определил он про себя. Такая точно публика бывает на лекциях в Историческом музее. Старых лиц, тучных обывательских фигур – очень мало.

Это сразу его настроило как-то особенно.

Из обширного прохода с вешалками, где он оставил пальто и калоши, он не сразу стал подниматься вверх.

Ему хотелось потолкаться в этой публике, настроить себя на один лад с нею, присмотреться к лицам – мужским и женским.

Он уже вперед знал, что та пьеса, которая не захватила его в чтении, должна предстать перед ним в новом освещении. И наверное, вся эта молодежь ожидает того же.

Особенно приятно было отсутствие тех лиц и фигур, с которыми сталкиваешься, нос к носу, везде, во всех зрелищах, той скучающей или глупо гогочущей толпы, которую он, с каждым днем, все меньше и меньше выносил.

Чувствовалось, что публика пришла и приехала сюда не от одной скуки, чтобы как-нибудь скоротать вечер и пройтись сильно по водке в буфете. Она чего-то ждет, чего она никогда в другой зале не получит.

Когда раздался звонок, он почти испугался, как бы не опоздать сесть до подъема занавеса.

И все время он жалел, что нет с ним невесты. Как бы для нее все это было ново! Сколько разговоров поднялось бы между ними, в антрактах и после спектакля, за самоваром, в той комнатке, которую он уже присмотрел ей!

Его охватил почти полный мрак, когда он с трудом отыскивал свое место.

Звук гонга прошел по его нервам. Занавесь из материи – раздвинулась, подхваченная с боков. На сцене та же почти темнота. Он вспомнил, что дело в саду, перед озером, где задняя декорация – только род рамы с натуральным пейзажем и светом настоящей луны.

Он весь ушел в слух и зрение. Различал он с трудом, по некоторой близорукости; а бинокля у него не водилось; но слух у него был на редкость.

Весь первый акт он сильно напрягал внимание. Но он не мог вполне отдаться тому, что происходило перед сценой и что говорила актриса о том ужасе, когда все живое погибнет и земля будет вращаться в небесных пространствах, как охолодевшая глыба.

Когда он читал пьесу, все это его не то что раздражало, а смущало. Он не мог сразу выяснить себе: в каком свете автор ставит такое зрелище, как он сам относится к попытке молодого декадента поставить эту странную вещь, где влюбленная девушка разделяет судьбу убитой – из прихоти – водяной птицы.

Да и теперь первый акт только вызывал в нем напряженный интерес, но не волновал и не трогал его.

И вдруг один женский возглас, полный слез и едкого сердечного горя, всколыхнул его.

– Кто это? – спросил он соседа, также студента.

– А та, что играет Машу, влюбленную в героя, дочь управляющего.

Со второго акта эта заеденная жизнью девушка, некрасивая, не очень молодая, пьющая водку и нюхающая табак, – выступила вперед. Актриса – он видел ее в первый раз – заставила его забыть, что ведь это она "представляет". Ее тон, мимика, говор, отдельные звуки, взгляды – все хватало за сердце и переносило в тяжелую, нескладную русскую жизнь средних людей. Ее только и было ему жаль, а не ту героиню с порывистой страстью полупсихопатки и к сцене, и к писателю – "эгоисту" с его смакованьем самоанализа и скептическим безволием бабника. Актер нравился ему чрезвычайно, лицо было живое; но все они: и декадент, и мать его – провинциальная "премьерша", и доктор, и его любовница, и дядя – судейский чиновник – все, все жили перед ним. И общее впечатление беспощадной правды держалось неизменно при чередовании сцены, где так искренно и чутко было передано "настроение".

Но душа его просила все-таки чего-то иного! После бурной сцены между матерью и сыном им овладело еще большее недомогание. Хотелось вырваться из этого нестерпимо-правдивого воспроизведения жизни, где точно нет места ничему простому, светлому, никакому подъему духа, никакой неразбитой надежде. Насмотрелся он довольно у себя дома на прозябание уездного городишки, где людям посвежее и почестнее до сих пор приходится жутко; но там в каждом, кто, как он, попал туда временно или собирается промаячить всю жизнь, – все-таки тлеет хоть маленькая искорка! Если тебе скверно здесь, то там, где-то, люди живут по-человечески.

"И это еще не все, – возбужденно говорил он, спускаясь вниз в фойе после третьего акта. – И это еще не все!"

Ему лично, Ивану Заплатину, экс-штрафному студенту – не хотелось поддаваться "настроению" такой вот пьесы.

Она слишком обобщает беспомощную бестолочь и жалкое трепанье всего, что могло бы думать, чувствовать, действовать, любить, ненавидеть не как неврастеники и тоскующие "ничевушки", а как люди, "делающие жизнь".

Ведь она делается же кругом, худо ли, хорошо ли – с потерями и тратами, с пороками и страстями. И народ, и разночинцы, и купцы, и чиновники, и интеллигенты – все захвачены огромной машиной государственной и социальной жизни. Все в ней перемелется, шелуха отлетит; а хорошая мука пойдет на питательный хлеб.

Погибни все они, эти нытики, поставленные автором в рамки своих картинок, – и он, Иван Заплатин, ни о ком не пожалеет, кроме вот той деревенской "девули", пьющей водку; да и то, вероятно, оттого, что актриса так чудесно создала это – по-актерски выражаясь, – "невьирышное" лицо.

"Сгиньте вы все! – повторял он, все в том же возбуждении. – Я о вас плакать не стану".

Художественное наслаждение он получил. Талант автора выступил перед ним ярче, ни одна крошечная подробность не забыта, если она помогает правде и яркости впечатления. Но

зритель, если он жаждет бодрящих настроений, – подавлен, хотя и восхищен. Он это испытывал в полной мере.

А кругом все гудели разговоры. Все возбуждены. Но неужели никто в этой молодежи не испытал того, через что он прошел сейчас?

Чем объяснить такой успех, такое увлечение? Неужели молодые души жаждут картин, от которых веет распадом сил и всеобщим банкротством?

Он не мог и не хотел с этим согласиться.

Привлекали творчество, талант автора и небывалая чуткость сценического воспроизведения. Жизнь – какова бы она ни была – всегда ценна и дорога, если художник-писатель, художник-актер и художник – руководитель сцены – одинаково преданы культуре неумолимой правды.

Заплатин ходил по фойе и глазами искал в толпе знакомое лицо, чтобы высказать сейчас все, вызвать обмен взглядов, поспорить, а главное – узнать, найдет ли он в ком-нибудь отклик на свое собственное "настроение"? Он не хотел бы быть одиноким. То, чего всегда жаждет его душа, – должно быть не в единицах только, а в сотнях, если не в тысячах его сверстников.

И вдруг его, сбоку и почти сзади, кто-то окликнул, просто по фамилии.

Он быстро обернулся.

Ему протягивал руку небольшого роста блондин, с кудельно-пепельными подстриженными волосами, видом купчик или конторист, в очень длинном черном сюртуке и светлых панталонах.

Черты лица мелкие, борода, особого рода усмешка красивых губ.

– Щелоков? – вопросительно вскричал Заплатин и взял того и за другую руку.

Он был на целую голову выше его.

– А ваше степенство давно ли на Москву прибежали? Ась? Много довольны вас видеть.

– И я так же. Все собирался тебя проведать. Да не удосужился... забежать в адресный стол.

– Зачем? В городе тебе всякий бы сказал.

– Ты все там же?

– До третьего часа... бесшумно в Юшковом.

– Чаю хочешь выпить... коли найдем место?

– Согласен.

Место им удалось захватить; они примостились к столику и спросили два стакана чаю.

– Значит, с водворением можно поздравить вашу милость?

Щелоков остался все с тем же умышленным говором московских рядов. Он привык к этому виду дурачества и с товарищами. С Заплатиным он был однокурсник, на том же факультете. Но в конце второго курса Щелоков – сын довольно богатого оптового торговца ситцем – "убоялся бездны", – как он говорил, а больше потому вышел из студентов, что отец его стал хронически хворать и надо было кому-нибудь вести дело.

Аудитории оставлял он без особого сожаления.

– Можно и дома книжки читать, – говорил он тогда, – а государственных привилегий нам не надо.

Так и остался "потомственным почетным гражданином" и по первой гильдии купеческим сыном".

Заплатин мог говорить только о пьесе.

– Как ты скажешь об этой пьесе, Авив?

Щелокова звали старообрядческим именем Авив.

– А! Не забыл! – усмехнулся он, отхлебывая из стакана. – Что скажу? Кисленьким отдает!..

– Кисленьким?

Заплатин тихо рассмеялся...

– Печенки большие... И вообще клинкой отшибает.

– Пожалуй!

"Столовер" – так звали Щелокова однокурсники – хватил, быть может, сильненько, но суть оценки была почти такая же, как и у него самого.

– Право, сударик мой, – продолжал Щелоков, тряхнув – совсем по-купечески – своими кудельными волосами, – господа сочинители все в своем нутре ковыряют. Хоть бы вот этот беллетрист, что в пьесе. Так от него и разит литературничаньем. И так, и этак себя потрошит, а внутри пакостная нотка вздрагивает: хвалить – то меня хвалят, но... – он выговорил это интонацией актера, игравшего роль беллетриста, – я не Тургенев, но и не Толстой! А мне-то, Авиву Щелокову, какое до этого дело? Так точно и прочие другие персоны этого действия...

– На которое тебе, как человеку древнего благочестия, и ходить-то зазорно?

– Мне ничто не зазорно, милый. Но дай досказать... Взять хоть бы этого декадента или девицу... Могу ли я сокрушаться о них, жалеть их?

– В одно слово! – вырвалось у Заплатина.

– А тем паче увлекаться. Что они представляют собою? Личную блажь. И я должен уходить в нее душой, когда вокруг, в российском якобы культурном обществе, первейшие потребности этой самой души попираются?!

"Вон оно что! Авив поумнел! – подумал Заплатин. Даром что в оптовом складе ситцем торгует!"

Щелоков был "столовер" убежденный. По родителям он принадлежал к "федосеевцам", и отец звал его мать до самой смерти "посестрием", не "приемля" брака как таинства.

Но он уже гимназистом стал сам себе "сочинять веру", а студентом – когда Заплатин сошелся с ним – любил говорить на тему "свободы совести". На бесцеремонные вопросы товарищей, какой он веры, он отвечал или: "я хлыст", или: "я перекувылданец" и тому, кто расхохочется, совсем серьезно объяснял, что такое "согласие" водилось еще не так давно в Заволжье, повыше Нижнего, а может – и теперь водится.

– Еще бы! – согласился Заплатин. – Да и мало того...

Он хотел развить свою идею; но раздался звонок.

– Ах, досада какая!.. Надо идти.

– А опоздать нешто нельзя? Для меня и теперь ясно, что никакого разрешения стоящего... и быть не может.

– Однако... скажи-ка, – спросил Заплатин, вставая, – чем кончит декадент? Отгадай, если ты не читал пьесы или отчета.

– Чем? Да как-нибудь нелепо... покончит с собой? Ась? Я плакать не стану.

– Отгадал!

Они расплатились и пошли в залу. Щелоков сидел в креслах.

Но он попридержал приятеля на площадке.

– Не хочешь ли после театра в заведение, закусить... малую толику?

От таких "угощений" Заплатин сторонился всегда, особенно от богатых купчиков. Но Щелоков – хороший парень и шампанским "пугать" не будет.

– В "Альпийскую Розу"... пожалуй. Там цены демократические.

– Ну, что еще за глупости!

– Нет, Авив, каждый за себя.

– Ну, ладно. Так в сенях рандеву... А то как же так: столько времени не видались?!

Щелоков сильно потряс его руку и пошел в кресла.

Так и остался Заплатин с желанием развить свою идею. Он разовьет ее в "Альпийской Розе". Да и сам Авив всегда его интересовал.

Таких – в его среде – вряд ли много гуляет по Руси. Сочинил он себе "свою веру" или нет, но он не изувер, и его "столоверство" и тогда – два-три года назад – было очень широкое.

И нота о "свободе совести", зазвучавшая в нем так внезапно и так кстати – для того, кто сразу его понял, – показывала, что он ушел вперед, даром что торгует ситцем в Юшковом переулке.

Опять в полной мгле пришлось Заплатину пробираться до своего дешевого места на верхах.

Протяжный, унылый звук гонга раздался, как раз когда он поднялся наверх.

Он помнил содержание последнего акта. Но не фабула тянула его к себе; а то, как будет передано настроение последней картины той жизни, которая, на оценку Щелокова, "отдает кисленьким" и "отшибает клинкой".

Все притихло. Ткань занавеса раздвоилась на две половины.

#### IV

В «город» Заплатин еще не попадал, с тех пор как водворился в Москве.

Ему всегда нравилась Красная площадь, с новыми Верхними рядами, особенно ночью, в электрическом свете.

Красивый пошиб этих чертогов мирил его с сутью рядской жизни.

Но сегодня он был менее строг в своих чувствах ко всему, что отзывается "купецкой" Москвой.

Встреча с Щелоковым и долгая полуночная беседа в "Альпийской Розе", где он настоял на том, чтобы заплатить отдельно за свою порцию холодной солонины, – в связи с тем, что он идет к Авиву, в его оптовый склад в Юшковом переулке, – настраивали его мысли в такую сторону, куда обыкновенно он их не пускал.

Перед ним стал вопрос: не слишком ли он кичится званием студента, тем, что сопричислен к "лику интеллигентов", как за ужином в "Альпийской Розе" выразился Авив на своем рядском жаргоне.

Взять того же Авива. Разве он что-нибудь потерял, что "убоялся бездны" и вышел с третьего курса? Он мог бы оставаться и в студентах, повременить с государственным экзаменом и все-таки взять ученое звание.

Не считал сам нужным. Он очень начитан. По своей вероисповедной части – настоящий "начетчик"; греческого не забыл, и Новый Завет читает каждый день в оригинале. Апокалипсис знает чуть не наизусть. И философские книжки любит читать и по-русски, и на двух иностранных языках.

Ну, кончил бы он? Какая разница? Только тщеславие свое потешить?

Все равно – он на службу бы не пошел. На казенную службу сектантов не принимают.

Авив еще на втором курсе, бывало, в аудиториях развивал идею, что главная порча нашей интеллигенции – дипломы и права по службе, что не нужно их вовсе. Тогда будет свободная наука, как свободна должна быть церковь, отделенная от государственной власти.

Он логичен, как во всем, что говорит и делает.

И остался купцом. И не стыдится этого.

Рядом с ним он, Иван Заплатин – сын купца третьей гильдии, – выходит не то что межеумком, а чем-то вроде "высочки". К "купчишкам" он и про себя, а иногда и вслух привык относиться пренебрежительно. Точно он сам – столбовой. Все оттого, что мать его – дочь незначущего чиновника и высидел он восемь лет на партах гимназии, зубрил сильно аористы и сдавал "экстемпоралии", а потом надел студенческую форму и сопричислил себя к "лику интеллигентов".

Авив гораздо дельнее. Он и по смерти отца не прикончит своего дела, будет торговать ситцем, сидеть в амбаре, ездить к Макарию, на ярмарку, и якшаться с "азиатами".

Он держится за свою "особность" и как купец, и как старообрядец. И в самом деле, возьми он "права", поступи он на службу – он должен первым делом поступиться своим "согласием" и перейти, по малой мере, в единоверие; а второе – очутиться в "дворянящихся" купцах, проходить табель о рангах, мечтать о генеральском чине и ленте через плечо.

Его не сбили с позиции, и он не хочет никакого другого положения.

Всему корень – экономический быт; в этом марксисты архиправы. А у него – Ивана Заплатила, сына хоть и плохенького, но все-таки фабриканта, – нет этого корня, да вряд ли и будет.

И теперь он, чтобы "домаячить" в студентах до государственного экзамена – все-таки сидит на шее у матери. Без ее поддержки ему не на что было бы приехать сюда, внести полугодовую плату, заплатить за квартиру и иметь обед до тех пор, пока не найдет какую-нибудь работишку.

Авив – как человек жизни – сейчас же и допросил его по-товарищески – имеется ли заработок и что представляется ему в ближайшем будущем?

И на это у него здоровый взгляд, который может показаться ретроградным только тем, кто не хочет вникнуть в дело.

– Не резон в годы учения – биться из-за пропитания! – говорит он. – Надо даром учить и содержать всех способных – самому государству или обществу – как придется. Кто имеет право на поступление – того и учи даром. А теперь науку заедает нужда и плодит интеллигентное нищенство!

Как он это разумеет – с ним нечего спорить.

На его вопрос о работе или о видах на нее надо было сознаться, что ничего еще нет. Ресурс один: печататься в газетах, а кланчить в кружке земляков совестно. Есть и беднее его. Он все-таки сын домовладелицы и мог без помехи внести полугодовую плату.

Щелоков – душевный малый.

– Надо тебя пристроить, – повторял он тогда в "Альпийской Розе", – что-нибудь такое найти на всю зиму и чтобы даже осталось к тому времени, когда начнется зубристика к государственному экзамену. – И тут он что-то такое сообразил и спросил его:

– Ты ведь моему сродственнику – Элиодору Пятову – однокурсником приходишься?

– Как же!

– Мне сейчас одно соображеньице пришло. Вот зайдешь ко мне... так денька через четыре... туда, в амбар... в Юшков переулок. Я кое-что нащупаю.

На этом они и простились.

Тот Элиодор Пятов – "сродственник" Щелокова – приходился действительно однокурсником им обоим. Одно время он даже очень льнул к тому кружку, где Заплатин был вроде как "запевалой". Они собирались, читали рефераты, происходили горячие прения.

И этот Элиодор тоже реферировал.

Он миллионщик, – кажется, теперь глава фирмы, и некоторые из их кружка возлагали на него особенные надежды, думали, что он со временем выкажет себя как настоящий друг "четвертого сословия".

Заплатину он стал давно уже "сумнителен". Малый неглупый, способный, книжек и тогда много прочел, и языки знал, и сильно охоч был до всяких идей и веяний – вплоть до символизма и декадентства; но был в нем какой-то "передел".

В бурные дни, когда овец отделяли от козлиц, – он очутился в овцах и беспрепятственно кончил курс.

Мечтал он, кажется, и о кафедре; но теперь, сделавшись главой капитальнейшей фирмы, – вряд ли пойдет по ученой дороге.

Когда он льнул к их кружку – ему ужасно хотелось сойтись с Заплатиным на "ты". Может быть, они и пили брудершафт. Но при встрече вряд ли он теперь будет с ним на "ты".

Щелоков всегда над ним подсмеивался и прохаживался частенько над тем, что его родители, "страха ради иудейска", перешли из раскола в единоверие, а потом и совсем стали "государственниками", как он называл последователей господствующей церкви.

Элиодор выдавал себя за "свободного мыслителя", чему Авив тоже не совсем-то верил.

Пробираясь по тесному тротуару переулочка к складу Щелокова, Заплатин представлял себе, каким должен быть теперь этот Элиодор, с тех пор как снял студенческую форму.

Засел теперь в кресле отца – в кабинете своей конторы, тут же в "городе". И студентом он смотрел уже "их степенство", по дородству и пухлости лица и особенной усмешке в карих глазах, где искрилось и "себе на уме", и постоянное желание выказать себя самым фасонистым европейцем.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.